

Р. АРОН

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ ИСТОРИИ

Эссе о границах исторической объективности

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИЯ

Историческое сознание изменяется вместе с народами и эпохами, в нем то доминирует ностальгия по прошлому, то смысл сохранения или надежда на будущее. Легко понятные флуктуации: некоторые народы ждут высокого положения, другие хранят о нем память, некоторые считают себя связанными традициями, которые хотят сохранить, другие с нетерпением ждут новшеств — жадные до свободы и забвения. Время представляет одновременно разрушительную силу, которая уносит в небытие монументы и империи, принципы жизни и созидания. Ни оптимизм прогресса, ни пессимизм распада и одиночества, собственно, не определяют историческую идею. В данной части мы хотели бы подняться над этими частными философиями и подумать над их общим источником, над соотношением двух терминов: *человек и история*.

Чтобы осознать, что он находится *в истории*, человек должен обнаружить, что он принадлежит к коллективу, который принимает участие в истории, являющейся общей для многих коллективов. Общество и история представляют среду, в которой каждый реализует себя, среду, влияние которой терпят и о которой судят.

Если бы история была только вместилищем коллективных изменений, то человек не осознавал бы своего исторического бытия. Если же он признал реальное становление, атомом которого он является, то ему для измерения своей зависимости необходимо заметить в самом себе эту природу, которую хотел осудить во имя своих идеалов. *Человек историчен*.

В первых двух параграфах, темами которых являются обе предыдущие формулы, ставятся новые проблемы: встречается ли человек в самом себе особенность того, как он достигает всеобщего? Как он подчиняет свое решение закону истины? Таким образом, мы приходим к антиномии жизни и истины; разнообразие способов быть противопоставляется единству человеческого предназначения, случайность данного противопоставляется личностной сущности.

Это — антиномия, последняя формула которой предлагает решение. *Человек есть* история, если и поскольку индивидуальное время составляет «я», вся история совпадает с человечеством, если это человечество творит себя на протяжении времени и не предшествует ни по ту сторону, ни в постоянстве определения, если оно смешивается с авантюрой, в которую вовлечено.

С этого времени последний термин анализа имеет одновременно временной и свободный характер (пар. 4). Время не есть зеркало, которое искажает, или экран, который скрывает настоящего человека, оно есть выражение человеческой природы, конечность которой предполагает бесконечное движение. История свободна, потому что она заранее не написана и не детерминирована, как природа или фатальность, она непредсказуема, как сам человек.

§ I. Человек в истории: выбор и действие

Психологически формы политического мышления бесконечно изменчивы. Большинство индивидов никогда не ставит под вопрос свои убеждения, они приобрели или, скорее, получили идеи и волю в одно и то же время, не отделяясь никогда от своего положения, не порывая связь сознания и жизни. Мы все знали детей буржуа, циничных или спокойных консерваторов, детей социалистических учителей во всей их очевидной наивности. Что касается тех, кто избрал сознательно или не один раз, то ли они прошли через противоречивые миры, то ли за неимением спонтанной уверенности они должны были строить свои миры, то есть кажутся обязанными подчиняться самым различным мотивам. Один становится коммунистом через христианство и атеизм, открывая не через Маркса, а через заступничество Иисуса Христа коррупцию нашего общества, другой становится роялистом из-за любви к порядку, которая является в меньшей степени следствием власти, чем отражение атеистического разума. Исторически позиции политической проблемы меняются еще больше (бесполезно это подчеркивать).

Тем не менее, на наш взгляд, политическое мышление имеет логику. Не потому, что можно сопоставить и сравнить все мнения: между экономистом, критикующим коллективизм, поскольку он производит по слишком высокой себестоимости, и моралистом,

критикующим режим, целью которого является получение прибыли, нет и никогда не будет диалога. В плане индивидуальных предпочтений дискуссии носят вечный характер, потому что сталкиваются темпераменты, но без того, чтобы идеи соизмерялись и корректировались. Логика не дает возможности выбрать между мнениями, но она дает возможность подумать над ними и таким образом определить условия, в которых фактически и по праву индивид выбирает, принимает решения и действует. Исходя из этого рассуждения, разовьем в данном случае один из аспектов, покажем исторический характер политики и, прежде всего, двух решающих приемов: *выбора и действия*.

Три иллюзии мешают признать *историчность* всякой политики. Одна иллюзия — это иллюзия сциентистов, представляющих себе науку- (общества или природы), которая якобы даст возможность обосновать рациональное искусство. Другая иллюзия — это иллюзия рационалистов, куда более зависимых от христианского идеала, чем они думают, которые безоговорочно признают, что практический разум определяет как идеал индивидуального поведения, так и идеал коллективной жизни. Последняя иллюзия — иллюзия псевдореалистов, претендующих на то, чтобы базироваться на историческом опыте, на фрагментарных регулярностях или вечных необходимостях и удручающих идеалистов своим презрением, не видящих, что будущее подчиняют прошлому, скорее реконструированному, чем понятому, и являющемуся тенью их скептицизма, отражением их собственной покорности.

Как мы уже видели, наука о морали ведет порядочных людей к конформизму. Строго говоря, она подтверждает общие очевидности, но никому не дает возможности выбирать между партиями. Если бы она скатывалась от социологии к социологизму, возвела бы общество в абсолютную ценность, то она научила бы только подчиняться: подчинение новой божественности было бы освящено как эта божественность. Несомненно, можно снова ввести плюралистичность для общества или для организаций внутри определенного общества, однако сразу же устраняется полное единство, из которого хотели вывести правило или цели.

Впрочем, мораль, а тем более политика, на наш взгляд, невозможна без изучения коллективной реальности. Мы только отвергаем претензию применять к отношениям теории или практики (политики

или морали) техническую смену (индустриальную или медицинскую). Мы отказываемся признать, что в данном случае цели не обозначены с согласия всех: главное состоит в том, чтобы знать, *какой* общности хотят. Одновременно искажают природу общества и природу социологии, представляя общество связным и однозначным, а социологию — полной и систематической. В действительности ученый в объекте встречается с конфликтами, которые волнуют людей и его самого. Если предположить, что он выясняет их истоки и значение, то тем самым он всего-навсего помогает индивиду разместиться в истории. Если он хвалится, что сделал больше, то в основном его исследование и полученные им результаты уже ориентированы волями, как будто выделенными из знания.

Идея одного призвания для всех людей и для всех народов легко оправдывается внутри христианского представления о мире. Разнообразие конкретных темпераментов или коллективов не затрагивает эту одновременно первоначальную и конечную идентичность, которая, будучи не замеченной индивидами и гарантированной присутствием Бога, избегает риска формализма. Это присутствие одновременно реально и эффективно, поскольку оно придерживается мистической взаимосвязи людей и их общего участия в драме человеческого рода.

Напротив, призвание, включенное в нашу духовную природу и расшифрованное рефлексией, обязательно становится формальным, если оно должно иметь значение для всех эпох, но не примиряет ни индивидов, ни соперничающие группы. Допустим вместе с Трельче, что этические императивы переживают смерть империи и течение веков. Строго говоря, они предлагают идеал, впрочем довольно неопределенный, личной жизни. Но эта сингулярная иллюзия, которая чем больше укореняется, тем меньше противится рассмотрению, предполагает, что, начиная с бескорыстия, великодушия или свободы, приходят к составлению в соответствии со схемой разума изображения общества, соответствующего вечным правилам.

Возьмем пример, связанный с современными проблемами экономики. Схематично возможны две системы регуляции: одна система регулируется автоматической игрой цен на рынке, другая — произвольно планом. В первом случае необходимые капиталы для инвестиции обеспечиваются индивидуальным накоплением, во втором — отчислением с предприятий, установленным администрацией по

планированию. Экономика с автоматическим регулированием предполагает в то же время наряду с прибылями огромное неравенство. Плановая экономика меньше страдает от неравенства, но она нуждается в сильной власти для определения в соответствии с коллективными требованиями (в соответствии с политической концепцией этих требований) части национального дохода, которая каждый год выделяется различным категориям граждан. Имеет ли решающее значение выбор между этими системами: можно ли понять суд разума? Ни в коей мере.

Выбор может делаться с различных точек зрения: система, обеспечивающая самое высокое производство, может оказаться самой несправедливой или оставляющей людям наименьшую независимость. Фанатики хотели бы скрыть эту плюралистичность, их система должна быть сразу же самой эффективной, самой гармоничной, самой справедливой, она должна ликвидировать кризисы, эксплуатацию человека, бедность и т. д. Эта наивность не позволяет осознать подлинные данные. Справедливое (или более справедливое) общество с самого начала должно жертвовать либерализмом во имя равенства и дисциплины. Если даже допустить, что все противоречивые требования сегодня будут удовлетворены, то нужно взять на себя риск, и иерархия предпочтений диктует порядок жертвоприношений. Отношения людей, неважно, идет ли речь об экономике или политике, ставят специфические проблемы, которые не сводимы к абстрактным законам этики. Предположим вместе с традиционной философией, что всякий индивид свободен, потому что он обладает определенной способностью рассуждать: как определить права, на которые он имеет право, права, от которых он готов отказаться временно, чтобы достичь той или иной цели? Конкретные определения всегда берутся из исторической реальности, а не из абстрактного императива. Другими словами, как мы уже отмечали выше, либо остаются в эмпирии бесполезных принципов, либо скатываются к дедукции деталей, которые имеют значение для определенного времени.

Добавим, что никогда не выбирают между двумя идеальными системами: между системой автоматизма и системой планирования, а выбирают между двумя этими несовершенными формами. На определенном этапе развития капитализма нужно решиться на ту или иную реформу — за или против системы. В спокойные эпохи, когда установившийся режим не ставится под сомнение, политика идей,

дорогая некоторым интеллигентам, проявляется полностью, она формирует идеал, который представляет существующее общество, либо она выражает и преобразовывает то или иное конкретное требование. Но в критические периоды политический выбор раскрывает собственную природу исторического выбора. Мы размещаемся в том или ином лагере, присоединяемся к тому или иному классу против того или иного класса, предпочитаем неудобства анархии неудобствам тирании. Иллюзия рационалиста состоит не столько в том, чтобы не признавать реальность, сколько в том, чтобы цепляться за надежду, что, несмотря на все, он выбирает согласно разуму. Действительно, выбирают на определенный момент и для определенного момента: не отрекаются от либерализма подлинного, а отказываются от декадентского либерализма. Меньше осуждают сущность парламента, чем коррумпированный парламентаризм. Так становится понятным, что, вопреки видимости, капитализм был побежден прежде всего в тех странах, в которых он был менее развит. Добавим, что этот выбор идеализируют, сведя его к альтернативе прошлого и будущего, забывая о плюралистичности возможностей, которые предлагаются каждому мгновению, путая новый режим с воплощением абсолюта. Ритм прогресса позволяет вносить решение, всегда вносящее сомнение и отречение в глобальное движение, которое сохраняет кое-что из престижа, заимствованного у Провиденция.

Во Франции идея исторической политики имеет реакционный резонанс. Призыв к опыту принимается за характеристику консервативного мышления. В действительности путают историческую характеристику всякой политики с некоторой теорией истории, с теорией, которая базируется на *уроках истории* или на ценностях традиции.

Историческая наука ни в коем случае не предполагает, что то, что было, должно быть продолжено, что то, что продолжается, лучше того, что происходит сейчас, что то, что встречается всюду в прошлом, должно всегда встречаться в будущем. Такими рассуждениями можно было бы долго доказывать неизбежность рабства. Логически история ведет к политике через наблюдаемые регулярности. Вся проблема состоит в определении природы этих регулярностей.

В политическом плане историк часто выделяет константы, относительно стабильные для данной ситуации. Макс Вебер писал, что

в конце концов только Россия угрожает существованию Германии. Какой-нибудь французский историк, в свою очередь, мог бы сказать, что только Германия угрожает существованию Франции. Он бы отсюда сделал вывод о необходимости либо роспуска германского союза, либо создания коалиции малых народов; Вебер мог бы рекомендовать соглашение с южными славянами или Англией.

Недостаток этих так называемых советов связан с преобразованием констант, в частности, в дипломатическом плане; их хрупкость мы обнаружили в течение нескольких лет. Действительная политика — это та политика, которая разрушает альянсы. Если физическая география почти не изменяется, то политическая география имеет отношение к становлению. Легко сослаться на опыт, гораздо труднее его использовать, еще труднее его забыть. Однако эффективное действие, не заботящееся о судьбе, схватывает все обстоятельства, способно обнять ситуации, созданные из уже увиденных элементов, в своей новизне.

Можно ли сказать, что стремление к оригинальности и уважение прошлого носят искусственный характер, что константы, которые мы взяли в качестве примера, слишком специфичны? В самом деле, выделим категории исторических общностей (*generalites*): прежде всего, это *категория элементарных регулярностей*, имеющих, так сказать, микроскопический характер и связанных с постоянством некоторых человеческих импульсов; затем это категория *исторических и социальных реальностей*, обозначающая черты, общие для всех коллективных организаций (например, конфликт классов или групп), наконец, категория всех каузальных связей (которые мы анализировали выше). Как известно, все регулярности носят частичный и фрагментарный характер. Поэтому если только на них базироваться для защиты политики, то можно будет сказать, что эта политика исторична, но при условии, если добавить, что эта история есть проекция в прошлое современной интенции.

Впрочем, нам достаточно снова взять результаты наших предыдущих исследований. Историческая наука сводится к трем типам заключений: чистый рассказ, отношения каузальности, глобальное представление о становлении, представление, которое кажется окончательным термином, хотя оно уже инспирирует концептуальное истолкование и отбор событий. Отношения каузальности объективны, но термины не связаны между собой, то есть поставленные вопросы

соответствуют проблемам историка. Селекция регулярностей неизбежно имеет политический характер. Что касается картины всей истории — вечный характер классовой борьбы, соперничество между властью и гражданами, фундаментальные законы порядка или, напротив, эволюция к лучшему, наряду с диалектикой целостностей, то она отражает философию, взаимосвязанную с решением. То, что делает абсурдным понятие политической науки, есть тот факт, что наука, всегда имеющая частичный характер, подчиняется противоречивым людям. Мы снова находим диалектику, которая была в центре нашей работы, прошлого и настоящего, устремленного в будущее, созерцания и действия. Речь идет не о том, как часто думают, чтобы знать, должна политика использовать историю или нет, но о том, как она должна ее использовать. История Морра представляет собой манихейский мир, отданный бесконечной борьбе добра и зла, где добро пользуется только сомнительными и хрупкими победами. История марксизма есть движение совокупности к общинному обществу.

Но если всякая политика носит исторический характер, то нельзя ли, не уничтожая противоположностей разных политик, обязать их к ведению диалога, анализируя логически неизбежное содержание доктрины? Историчность политики (или морали) отвергает scientистские претензии, но она закрепляет права рефлексии.

* * *

Выбор, о котором мы до сих пор говорили, логически предполагает два различных действия: выбор политики, вступление в партию. Эти действия обычно смешиваются, но они могут и должны быть разделены.

Первое действие требует, чтобы я признал внутри современного общества доступные и желаемые цели или другой режим, который мог бы сменить современный режим. Второе действие предполагает, что я согласен с членами партии или класса как с компаньонами, что я ангажируюсь полностью, вместо того чтобы только формулировать пожелание или выражать предпочтение. Но не всегда переходят от предвидения или желания к воле.

Каким образом, если только не быть ослепленным фанатизмом, можно было бы отрицать этот дуализм? Какой выход остается у тех, кто

как вечный язычник, когда уже произошла победа христианства, презирует будущее и считает его неизбежным, у тех, кто одобряет цели, но не согласен со средствами или с навязываемой дисциплиной, как, например, сегодня либерал или гуманный коммунист, кроме воздержания или покорности? Поражения вероятны, может быть, неизбежные поражения, если человек такое существо, которое знает возможное и стремится к невозможному, одновременно претерпевает историю и хочет ее выбирать.

Между отношениями и действием нет никакого препятствия. Тот, кто присоединился к группе, согласен служить. Если мы разделим оба приема, то именно действие, действие руководителя, действие солдата, ставит перед умом и сознанием другие проблемы, которые нельзя спутать ни с проблемами выбора, ни с проблемами присоединения.

Психологически, как мы уже говорили, содержание политического выбора бесконечно варьируется даже внутри определенного общества, внутри определенной эпохи. Логически важно, прежде всего, принимать или нет существующий порядок: за или против того, что есть, — такова первая альтернатива. Реформисты и консерваторы противостоят революционерам, тем, кто хочет не улучшения капитализма, а его уничтожения. Революционер хочет, разрушая среду, мириться с самим собой, поскольку человек согласен с самим собой лишь тогда, когда он согласен с принципиальными отношениями, пленником которых волей-неволей является.

Тот, кто устраивается в рамках данной системы, оттеняет тысячами способов свое принципиальное согласие. Консерватор, в соответствии со своим разумом, является всегда более или менее реформистом, он становится защитником той или иной ценности или тех или иных интересов, зато революционер не имеет программы, если не иметь в виду демагогическую программу. Скажем, что он имеет идеологию, то есть представление о другой системе, более совершенной по отношению к настоящей и, возможно, нереализуемой, но только успех революции даст возможность различать антиципацию и утопию.

Стало быть, если придерживаться идеологий, то стихийно можно присоединиться к революционерам, которые обычно обещают больше, чем другие. Ресурсы воображения обязательно одерживают верх над реальностью, которая даже извращена или преобразована ложью. Так объясняется предрассудок благосклонности интеллигентов в пользу так называемых передовых партий. Нет необходимости ссылаться на

веру в прогресс. Нельзя сомневаться в том, что общества, которые мы до сих пор знали, были несправедливыми (если сравнить их с современными представлениями о справедливости). Остается узнать, каково будет справедливое общество, если его можно определить и реализовать.

Как мы уже указывали выше, было бы разумно и важно для экономики сравнить современную и будущую организации. Это сравнение дало бы, по крайней мере, позитивные результаты, но эти абстрактные рассуждения имеют меньше значения, чем думают. Нужно было бы сопоставить капитализм в современном виде с будущим коммунизмом, учитывая людей, которые исторически имеют шанс и обязанность осуществить его. Но второй термин от нас ускользает. Революционеры будут трансформированы своей собственной победой. Между фрагментарными предсказаниями и будущей тотальностью существует огромный простор, простор незнания и, может быть, свободы.

Если предположить, что можно найти меньше неудобств в системе, которая идет к закату, чем в системе, которая анонсируется, что капиталистические противоречия кажутся менее страшными для святых ценностей, чем коммунистическая тирания, то можно ли присоединиться к капитализму и сделаться его защитником? Восстание масс — тоже реальность, оно, по крайней мере, доказывает возможность другого режима. Нельзя разделять все надежды фанатиков, но нельзя и отрицать значения потрясения. Неуверенность в будущем препятствует скептицизму и отказу.

Было бы слишком просто сказать, что выбирают между двух зол или что выбирают неизвестное: скажем, что выбор всегда предполагает жертвы и что выбирают *против* чего-нибудь, когда выбирают революцию.

Есть две различные трудности действия: прежде всего добиться власти или сохранить ее, затем использовать ее в определенных целях. Нам не важно изучать условия политики в зависимости от режимов или стран. Это задача политической социологии — анализировать технику пропаганды или технику диктатуры. Нам важен один пункт, потому что он касается нашей центральной темы, темы разрыва между реальностью и осознанием. Действие с целью захвата власти

неизбежно использует, как и всякое действие, средства применительно к преследуемой цели. Факт, что более эффективно влияют на массы демагогией, чем напоминанием истин, в основном неприятных. Согласиться с ограничениями практики значило бы согласиться с тем, чтобы с другими обращались как с инструментами, были вынуждены лгать из приличия. Идеология и миф имеют постоянную функцию в общественной жизни, потому что люди не сознают и никогда не хотят сознавать историю, которую делают.

Поэтому предрассудок так же страшен, как предрассудок идеалиста, и готовит такие же тяжелые последствия, как предрассудок техника (сегодня — экономиста или финансиста), который сравнивает поступки финансиста с действиями правительства, с теми действиями, которые должны были бы иметь место согласно желаемой науке. Трактат Парето, систематизирующий горькие воспоминания разочарованного либерала, иллюстрирует эту абсурдность людских поведений, когда путают рациональность как таковую и экономическую рациональность. Добавим, что реализм Вебера не менее иллюзорен. Хотя он безжалостно анализировал условия современной политики (партия, пребанды, грабители и т. д.), отказывался вступить в игру, хотел обязать каждого сражаться с развернутыми знаменами, как будто ни одна партия не была способна различать то, что есть, и то, чего она хочет, или предсказать последствия мер, которые она предлагает или принимает.

Единственный способ избежать пессимизма Парето состоит в том, чтобы вернуть реальности ее историческое измерение. Конфликты классов и групп, революции и тирании представляют собой непрерывный ряд кровавых абсурдностей, если не видят движение совокупности, которое ведет общество и дух к будущему общества. Современник законно сравнивает поступки и интенции, принципы и поведение: такое-то социалистическое правительство ускоряет капиталистическую концентрацию и во имя процветания продолжает кризис. Но оно должно знать шаткость своей критики, какой бы необходимой она ни была. В конечном счете, не экономика и не мораль судят человека действия, а история.

Взятие власти есть высшая награда для демагога, остается оценить руководителя.

Является ли идеалом идеал Макса Вебера? Можно ли охватить ситуации, распознать всю сложность детерминизма и включить в

реальность новый факт, который дает максимум шансов на то, чтобы добиться поставленной цели? По правде говоря, мы здесь столкнемся с фундаментальной антиномией между *политикой рассудка* и *политикой Разума*, которая соответствует антиномии случайности и эволюции. В первом стратегия представляет собой постепенно обновляющуюся тактику, в другом — тактика подчиняется стратегии, она даже созвучна с изображением будущего.

Политика рассудка — Макс Вебер, Ален — стремится к сохранению определенных благ, мира, свободы или стремится добиться единственной цели национального величия во всегда новых ситуациях, которые неорганизованно следуют друг за другом. Он подобен лоцману, который плывет, но не знает, где находится порт. Дуализм средств и целей, реальности и ценностей; не современные тотальности и роковое будущее — каждое мгновение для него есть нечто новое.

Политик Разума, напротив, по крайней мере, предвидит будущий конец эволюции. Марксист знает о неизбежном исчезновении капитализма, и единственной проблемой является адаптация тактики к стратегии, компромисс с современным режимом для подготовки будущего режима. Средства и цели, движение и цель, реформа и революция — эти традиционные антитезисы напоминают противоречия, в которых запутались те, кто действует в настоящем, не игнорируя будущего, которого они желают.

Оба типа политиков, безусловно, являются идеальными типами, они обозначают два крайних положения. Одно положение рискует дегенерировать в покорность, другое — в слепоту, одно положение превращается в бессилие из-за того, что вверяется истории, другое тоже становится бессильным из-за того, что забывает историю, одно положение — более мудрое, другое — более героическое. Это значит, что всякая политика одновременно является и тем, и другим. Нет такого мгновенного действия, которое бы не подчинялось отдаленной задаче; нет такого доверенного лица Провидения, которое бы не выжидало единичных случаев. Качества пророка и эмпирика должны быть совместимы. Политика одновременно является искусством выбора без возврата и с далекими намерениями. Человек действия, будучи непреклонным, открытый конъюнктурам, имеет в виду цель, которую он для себя наметил. Впрочем, чаще приходится видеть

мудрость на службе безумного предприятия или как презрительное отношение к технике способно скомпрометировать разумный замысел.

Выбор и действие историчны в трех смыслах. Они соответствуют ситуации, бремя которой взваливает на свои плечи индивид, не неся за это ответственности. Больше не возвращаются к тому, что уже прошло: восстанавливают монархию, но не феодальные права. Не исправляют ошибку ошибкой в обратном смысле. Гитлеровская Германия требует иной политики, нежели Веймарская Республика. Нужно бежать от сожалений и угрызений совести, которые бесполезны и опасны.

Далее, действие допускает неуверенность в будущем. Пусть принимают определенную общественную систему или финансовую меру, все равно есть риск, поскольку человеческие реакции не всегда полностью предсказуемы, поскольку известна только часть реальности, и всякая реальность эффективна.

Наконец, действие начинается с принятия основных условий всякой политики, условий, присущих данной эпохе. Нужно быть способным на ясность и веру: верить в историческую волю, не веря ни в мифы, ни в толпы. Психологически, с точки зрения гуманизма, никакая группа, никакая партия в моральном плане не может требовать привилегии или преимущества.

Тройная историчность, которая соответствует тройному требованию: собрать наследие, стремиться в будущее, которое неизвестно, расположиться в движении, которое возвышается над индивидами.

§ II. Исторический человек: решение

Выбор нам показался историчным, поскольку он уточняется и утверждается, по мере того как я обнаруживаю в непрерывном движении от настоящего к прошлому и наоборот и ситуацию, в которой я нахожусь, и политику, которую принимаю. Сознательно ограниченные наши анализы пренебрегали аспектом данных.

Выбор еще историчен и потому, что ценности, от имени которых я сужу о настоящем, происходят из истории, вложены в меня объективным духом, который я ассимилировал, по мере того как поднимался до личного сознания. С другой стороны, выбор не есть действие, чуждое моему подлинному бытию, это решающий акт, через

который я ангажируюсь и фиксирую социальную среду, которую я принимаю за свою среду. В действительности выбор в истории совпадает с решением о себе, поскольку оно является причиной и объектом моего собственного существования.

* * *

В редкие спокойные эпохи, когда частная жизнь проходила за пределами публичных дел, когда любая профессия ничего (или почти ничего) не должна была ожидать и не должна была бояться властей, политика проявлялась как специальность, вверенная профессионалам, как занятие по сравнению с другими скорее страстное, чем серьезное. Нужна была война, чтобы людей снова научить, что, прежде чем быть частными лицами, они являются гражданами: коллектив, имеющий классовый или патриотический характер, законно требует от каждого, чтобы он ради дела жертвовал собой. Национальная защита или революция, индивид, принадлежащий истории, обязан брать на себя высший риск.

Редко ставят оба эти выбора на одну и ту же плоскость. Моралисты и доктринеры мечтают об умиротворенном и пацифистском человечестве. Какими бы ни были эти надежды, до настоящего дня не было государства, которое бы не применяло силу для самосохранения против своих внутренних и внешних врагов. В современном мире абсурдно и наивно проповедовать ненасилие, в то время как социальные и колониальные режимы опираются на власть, которая нуждается в согласии меньше, чем в полиции.

Можно ли сказать, что целью революционного насилия как раз является победа кристаллизованного насилия в учреждениях? Допустим, это временно. Во всяком случае, революционер не может сослаться на отказ от военной службы по религиозно-этическим соображениям. С того момента, как он согласился в некоторых случаях убивать, он выбрал войну против других: это политический, а не моральный выбор.

Могут возразить, что это насилие есть последнее насилие, чтобы положить конец всем насилиям. Пацифисты и идеалисты любят предаваться таким оправданиям. Думают, что война есть последняя война для Европы, что она устанавливает между некоторыми нациями согласие, которое исключает на время новый конфликт. Такой

ограниченный мир будет этапом исторического развития, он закрепит определенное распределение благ, определенное состояние институтов. Другими словами, полученный результат до тех пор, пока будет носить политический характер, будет следствием хрупкости, частичной несправедливости всякой политики. В таком же духе можно надеяться, что будущий режим будет лучше, чем сегодняшней, но не потому, что с победой управляемой экономики исчезнет бюрократия и что каждый получит вознаграждение по заслугам.

В передовых партиях есть три типа людей — идеалисты, анархисты и действительные революционеры. Последние говорят «нет» существующему порядку и хотят другого порядка, анархисты говорят «нет» любому социальному порядку, идеалисты рассуждают или воображают себе, что рассуждают от имени вечного идеала, не заботясь о сравнении своих требований с постоянными условиями коллективной жизни. Не зная этого, они занимают самую нереальную позицию, позицию восстания, которая завершается революцией. Нормально, чтобы молодой человек измерял дистанцию между принципами, которые ему преподавали, и реальным обществом, даже если оно — восставшее общество. Может быть, человек свое звание должен направить на преследование цели, которой никогда не достигнет. Но восстание, каким бы оно ни было эстетически соблазнительным или в некоторых случаях гуманным, несерьезно, ибо оно заменяет желание волей и требования действием. Не знание, а безрассудство говорит сразу «нет» настоящему и будущему, чтобы сказать «да» мечте. К тому же бунт тоже в крайнем случае предполагает жертвование жизнью. Отказывающийся от военной службы по религиозно-этическим соображениям неопровержим, если он согласен скорее на все, чем подчиниться обязанности, которая для него неприемлема. Свобода конкретного выбора ограничена природой общностей и историческими условиями. Но свобода индивида всегда остается, ибо он судит историю в то же время, когда он судит в истории.

Но если он хочет быть здравомыслящим, то должен предвидеть последствия своего решения. Отказывающийся, который возмущается против наложенного на него наказания, понял мир не больше, чем самого себя. Коллектив, который согласен с тем, чтобы законы не были обязательны для всех, чтобы граждане в случае необходимости не защищали его, не только непонятен, но и немислим. Поэтому тот, кто

предпочитает спасение своей души спасению населенного пункта, должен будет удивляться только тому, что этот населенный пункт отвечает на его отказ отказом. Общая воля и личное сознание должны столкнуться. И это сознание ошибается, если только не базируется на божественном законе, поскольку оно противостоит универсальному императиву и не признает человеческого предназначения, которое находит свое завершение лишь в сообществе.

Бесспорно, этот крайний конфликт имеет исторический характер, поскольку долг службы в своей современной форме появился недавно. Еще сегодня тот, кто не ориентируется ни в современном режиме, ни в готовящемся режиме, сохраняет возможность и моральное право бежать из общества: непоколебимый, мудрый или покорный, он согласен жить один. Одиночества никогда не желают, его предпочитают определенному коллективу. Если политический выбор рискует привести к выбору какой-либо смерти, то это всегда означает выбор определенного образа жизни.

Здесь также обычный ход политики подвергает опасности скрыть от нас важность наших обязательств. Сегодня ясно, что публичная жизнь определяет всякую частную жизнь, что, желая определенного социального порядка, хотят жить определенным образом. Не все ниспровергается революцией. Преемственности всегда будет больше, чем думают фанатики. Дух не является полностью пленником общей судьбы. Отношения между людьми, профессиональные занятия, природа власти, сама семья будут преобразованы: жизнь всех и каждого будет другой, другими будут убеждения, другими будут идеологии. Тот, кто хочет другого общества, хочет сам быть другим, поскольку он принадлежит современному обществу, обществу, которое его сформировало и которое его отвергает.

Очень часто он ссылается на трансцендентные императивы или на идеальное будущее. Но, как мы уже видели, это идеальное будущее есть только трансфигурация, созданная незнанием несовершенной системы, а трансцендентные императивы представляют собой ипостась ценностей, реализованных, утвержденных или вообразимых современным обществом. Таким образом объясняется то, что революционер часто ссылается на принципы, заимствованные из наследия, которое он отвергает. Именно во имя демократии коммунисты готовят социальный порядок, радикально отличающийся от формальной демократии, при которой мы живем. С другой стороны,

социализм как самоотрицание капитализма имеет больше следов, чем думают, от общества, которое его породило и которое он презирает. Идеи будущей системы аккумулируются внутри системы, которая идет к закату. Социальные противоречия сопровождаются противоречиями людей между собой. Индивиды больше не принимают свою среду, их сознание отвергает их жизнь. Революция, кажется, является решением, хотя и она примиряет некоторых людей с самими собой и со своей средой, но не идеал с реальностью.

* * *

Жизнь индивида во времени предполагает три диалектики прошлого и будущего: знания и желания, «я» и других. Эти три элементарные диалектики подчиняются диалектике мира и личности. Я открываю ситуацию, в которой живу, но я ее признаю своей только в том случае, если принимаю или отвергаю, то есть определяя ситуацию, в которой я хочу жить. Выбор среды есть решение о себе, но это решение, как и выбор, вытекает из того, кем я являюсь (так что здесь повторяется диалектика познания и воли, данного и ценностей), оно так же глубоко исторично, как и выбор. Однако оно творит мой духовный мир, и в то же время оно фиксирует место, которого я требую в коллективной жизни. Могу ли я принять свое решение, если я осознаю особенность моего бытия и моих предпочтений?

Психологически вопрос имеет мало значения. Фанатизм быстро экзальтирует проходящую необходимость или уподобляет непосредственную цель окончательной цели человечества. Большинство людей не делают разницы между Богом, которому преданы, и тем, кто им будет. Марксисты ежедневно доказывают, что легко находят абсолют в истории.

Настоящий вопрос не имеет психологического характера (хотя, может быть, вера чем больше нетерпима и слепа, тем больше чувствует свою неспособность самодеказательства). Понятно ли философски историческое решение? Если сравнить такое решение с решением верующего или моралиста, то можно измерить интервал. Верующий не должен желать, а должен жить. Добро и зло существуют до него и вне существ; для каждого речь идет о том, чтобы всю свою жизнь и каждое свое мгновение заботиться о своем спасении, проигрывая во времени свою вечную судьбу. Христианин приближается к Богу или

отворачивается от Него, который, будучи неподвижным и недоступным, страдает и одерживает победу над собой. Моралист, хотя различие ценностей имеет человеческий, а не божественный характер, слушает речь, которая адресована ко всем. Распоряжение не убивать, обуздывать свои страсти или подчиниться категорическому императиву не связано ни со временем, ни с сегодняшним днем. Оно так же старо, как и человечество, призвание которого выражает и которое примиряет в самоуважении. Напротив, конкретное решение коммуниста, национал-социалиста, республиканца, француза соединяет индивида с замкнутыми на себя коллективами, оно не подчиняется универсальному закону, оно соответствует сингулярной конъюнктуре, которую оно не переживает. Оно относительно, как и все то, что связано с проходящими вещами.

В нашу эпоху слепых верований скорее желают, чем индивиды вспоминают, что конкретный объект их привязанности не раскрыт, но выработан согласно вероятности, и что он не должен, как трансцендентные религии, делить мир на два противоположных царства. Попытались подчеркнуть скорее хрупкость мнений, чем абсолют обязанностей. На самом деле, поскольку так долго имеет место дискуссия, лучше вспомнить, что человечество невозможно без толерантности и что никому не дано обладать абсолютной истиной. Но достаточно возникновения экстремальных ситуаций — войны или революции — чтобы мудрость оказалась бессильной и чтобы снова появилось основное противоречие: для решения исторической задачи человек должен взять на себя риск, который для него влечет за собой все.

Философски противоречие исчезает, когда решение перестают соизмерять с религиозной моделью. Человек, который осознает свою конечность, который знает только свою единственную и ограниченную жизнь, должен, если он не отказывается жить, отдаваться целям, значение которых он увековечивает, подчиняя им свое бытие. За неимением этого все вещи растворились бы в безразличии, люди выродились бы в природу, поскольку они были бы тем, кем являются, благодаря обстоятельствам своего рождения или среды. К тому же эти формулы выражают такую банальную истину, что противоположный тезис «лучше бесчестье, чем смерть» натолкнулся на тех, кто имплицитно его принимает, безусловно, отказываясь от насилия.

Поэтому вопрос не в том, чтобы уступать моде патетической философии, чтобы путать тоску по ниспроверженной эпохе с перманентным данным, чтобы утонуть в нигилизме, а в том, чтобы напомнить, как человек сам себя определяет и как определяет свою миссию, соизмеряя себя с небытием. Напротив, именно утверждать мощь того, кто себя творит, судя о своей среде и выбирая себя. Таким образом, только индивид преодолевает относительность истории через абсолют решения и интегрирует со своим главным «я» историю, которую он несет в себе и которая должна стать ее историей.

она мне открывает то, кем я являюсь в истории среди других. Должен ли я сказать, согласно концепции Дильтея, что это сама история меня порождает из истории?

В другом месте мы развили и уточнили мысль, которая может трактоваться тремя различными способами. Либо объективное познание прошлого возвышает нас над самими собой, либо ретроспекция обладает преимуществом улавливать истину, либо, наконец, только рефлексия избавляет нас от наших границ.

Дильтей в своих работах скорее рядорасположил, чем объединил, обе противоречивые мысли, что понимают то, что пережили или могли пережить, что понимают другого, но не самого себя. Отсюда одновременно следует идентичность человеческой природы и завершение человечества становлением. Мы попытались уточнить и составить эти темы, но мы должны были отбросить главное предположение, на котором базируется объективность науки. Дильтей допускает, чтобы историк полностью отрекался от самого себя, чтобы он совмещался с различными эпохами, потому что он не связан с настоящим. Согласно нашему исследованию, здесь имеется ошибка и иллюзия. Ошибка, потому что историк в той мере, в какой он живет исторически, склонен к действию и ищет прошлое своего будущего. Иллюзия, так как историк, будучи созерцателем, не имел бы возможности понять со всей верностью. Как принцип всякого существования, как субъект для самого себя он никогда не появляется перед наблюдателем, последний организует человеческие миры через их реконструкцию. Причина этих реконструкций находится в «я» ученого, историчность которого ведет к историчности понимания.

С тех пор как вопрос об универсальной пригодности, который ставился перед Дильтеем, для истории философии, философии, выделяющейся из истории, или тотальности, связывающей частичные

концепции, этот вопрос ставится перед всяким познанием прошлого: частичные истории связаны с теориями и перспективами, всеобщая история предназначена для поиска истины о человеке, которую историк и исторический человек также исследуют.

Значение эпохи фиксируется только при двух условиях: либо оно представляет собой значение в себе, либо оно относится к конечному пределу. Мы показали невозможность адекватной истины, и будущее начинает говорить только постепенно, но никогда полностью, об истине прошлого.

Что касается рефлексии, то она избавляет нас от своеобразия, поскольку она не связана ни с ангажированностью, ни с ограничением нашей личности, но если объект рефлексии остается формальным, если мы в соответствии с истиной знаем необходимость решения, то мы сразу же обнаружим невозможность истины в истории.

* * *

Мы последовательно находили все значения классической формулы: человек — существо историческое; смертное существо, думающее о своей смерти; социальное существо, которое претендует на то, чтобы быть личностью; сознательное существо, которое размышляет над своей особенностью. История — это диалектика, в которой эти противоречия становятся творческими, история — это бесконечность, в которой и через которую оно осознает свою конечность.

§ III. История человека: поиск истины

Первая формулировка — человек находится в истории — противопоставляла индивида социальной среде. Вторая формулировка — человек историчен — восстанавливала единство, но подтверждала своеобразие людей и релятивность воли. Последняя формулировка — человек есть история — подтверждает это ограничение, поскольку она совмещает личность и человечество с разворачиванием их временного существования. Однако, может быть, человеку, если он определяется по мере самосозидания, удастся преодолеть историю, признавая и определяя ее.

* * *

История есть становление как духовных миров, так и коллективных единств, становление культуры, если под этим термином подразумевают творения, которые человек создает и через которые он преодолевает самого себя. Она означает, что эти миры всегда имеют связь с частично иррациональным источником и что они развиваются во времени. Как комбинируются эти признаки?

Существующий Парфенон ничего не ожидает от времени, кроме деструкции. Выгравированный на материи, дух подвержен хрупкости вещей, века ему не приносят другого обогащения, кроме постоянного обогащения новым восхищением. Шедевры создают мгновению жизни нечто вроде постоянства, они предлагают другим жизням возможность бегства, поскольку тот, кто созерцает, как объект изъят из бега времени. История посмертного искусства состоит из отдельных моментов наподобие переданных монументов и сменяющих друг друга людей, которые их преобразовывают.

Неважно, что различают стили, которые развиваются и противостоят друг другу, неважно, что каждый художник продолжает или отвергает традицию. Теория, которую мы излагаем, не есть теория внешней или внутренней истории, имманентной социальной эволюции, мы думаем только о сущности творения и эстетического наслаждения. Неважно еще то, что красота подчиняется вечным нормам или что, напротив, формы в ней обязательно должны быть другими. Мы не требуем, чтобы красота была отделена от бытия, чтобы она была определена раз и навсегда: вечность есть вечность закрытого творения, она не имеет другой цели, кроме самой себя, она незаменима, доступна сознанию в изобилии изолированных мгновений.

Эта мысль проявляется со всей ясностью, если мы сошлемся на противоположный тип деятельности, а именно: на науку. Противоположность, которая в меньшей степени связана с тем, что верность суждения безразлична к своим истокам, чем с подчинением каждого открытия открытию, которое ему предшествует или следует в непрерывном процессе прогресса. Еще раз, речь не идет о реальном становлении, которое подвергается всем влияниям, разделяет превратности исторического движения. Как совершенство прекрасного разлагает время на разбросанное множество, так и несовершенство всякой научной истины представляет собой следствие

покорения. Художник одинок и соизмеряет себя с Богом, ученый помешается в истории, которая находится в движении и знает свою конечность.

Зато историк, а не художник преодолевает историю. Завершенный труд самодостаточен, но он понятен только благодаря жизни, которую выражает так же, как наслаждение любителя понятно благодаря сходству между ним и творцом. Поэтому материальное разрушение — это не только единственное разрушение, которое угрожает художественному творению. Варвары, новое человечество с радостью жертвовали ценностями, которые до этого были священными. Безусловно, истине, уже установленной и в конечном счете верной (установленной путем согласия суждений между собой или на определенной ступени приближения данного путем совпадения исчислений и эксперимента), нужно сознание для ее осмысления. Но в плане знания будущее спасает прошлое. Правила истины не переменны по праву, как эстетические нормы. Знание по природе имеет незавершенный характер, оно постоянно накапливается.

Верно, что внутри этой истории воспроизводится своего рода диалектика. Сконструирована ли система или существовала, так сказать, раньше в уме? Если наблюдать за возможностью людей и обстоятельств, то склоняются к первому предположению, ретроспективно стремятся гипостазировать в идеальном пространстве математические объекты, проецировать в реальность уравнений, с помощью которых мы улавливаем эту реальность. И тем не менее есть ли что-либо более трудное, чем понять, что объективность наших идей предшествует нашей мысли? Диалектика научного становления и логического оформления, творения и разработки, бесспорно, является составной частью нашего ума.

Что бы там ни было, приблизительная и частичная истина данного времени так же сохраняется, как и преодолевается. Тот, кто посвящает себя позитивному исследованию, сильный постоянством цели, испытывает свою связь с начинанием, общим человечеству и имеющим значение для всех. Он участвует в прогрессе, который, кажется, постепенно стирает следы своей случайной реализации.

Примененная к всеобщей истории, эта противоположность предлагает две интерпретации: каким образом комбинируются своеобразная ценность каждого мгновения и высшая ценность всего?

Если бы изучение природы и создание шедевра были единственной целью человека, то больше не интересовались бы самой социальной историей. Она бы заслуживала изучения только для воздействия, которое оказывает в основном на исторические социальные действия. Такой вывод был бы настолько же хрупким, насколько и антропологическим, обосновывающим его. Человек есть не только ученый, он не удовлетворяется никакой частичной функцией, однако с тех пор, как задается вопросом, почему он хочет жить, рассматривает тотальное движение, от которого зависят и жизнь, которую конкретно он ведет, и признание, которое он себе определяет.

* * *

Всякий человек уникален, незаменим сам по себе и для других тоже незаменим, а иной раз для человечества. И тем не менее так страшно потребление индивидов историей, что не видят средства избежать этого до тех пор, пока будет необходимо насилие для социальных изменений. Люди как средства приносятся в жертву историческим целям, и, однако, эти цели не находятся по ту сторону людей: цели истории неизбежно находятся на этом свете.

Поведение людей должно быть подчинено моральному суждению, которое соотносит действие с актером. И это суждение оказывается ничтожным перед чудовищной возвышенностью истории, осужденной полностью, если бы она была соизмерена с законом любви или с императивом доброй воли. Должно ли подчинить шефа или хозяина общему правилу? Поскольку он такой же, как и другие, как можно избежать положительного ответа? Напрашивается отрицательный ответ, поскольку он больше отвечает за свое деяние, чем за свое поведение, отвечает перед будущим.

Нельзя сократить эту плюралистичность без принесения в жертву одного из аспектов действительности. Качество душ неприводимо к качеству идей, нельзя считать, что все причины самоотверженности их сторонников являются святыми. Каждая личность, каждое общество представляет ценность само по себе в той мере, в какой оно реализует одну из форм человечества, но никто и ничто полностью не закрыто, никто и ничто не осуществляется полностью, все проявляются в поисках последнего предела. Коллективная иллюзия? Имеет ли человечество другую цель, нежели бесполезное творение или завершенность нескольких индивидуальностей?

Таким образом, мы снова возвращаемся к вопросу, которым завершается наша книга. Чистый историзм сам себя отвергает, он растворяет всякую истину и в конечном счете историю. Но морализм привел бы к противоположной анархии, поскольку он принес бы в жертву этическим императивам действие и, так сказать, общества принес бы в жертву справедливости. Антитеза абстрактной морали и истории, мгновений и цели: рефлексия в них показывает необходимость и предлагает идеальное решение.

* * *

Есть два способа отрицания того, что человек имеет историю: один — это способ психолога, другой — способ моралиста. Они соединяются в вульгарном гуманизме.

Директор банка или коммерческого предприятия не более жаден, чем китайский торговец или еврейский ростовщик. Амбиция власти не исчезнет в бесклассовом обществе. Во всех революциях пронизательный наблюдатель заметит аналогичную смесь преданности и низости, доносов и жертвоприношений, трусости и энтузиазма. Индивиды, вышедшие из рамок, которые им предписывала дисциплина, предоставленные своим противоречивым импульсам и своим слабостям, должны представлять частично похожий спектакль. Вероятно, советская бюрократия в некоторых чертах похожа на все бюрократии, окружение диктатора похоже при всех дворах. Хроникер и моралист всегда правы, но они также всегда ошибаются.

Капиталист с протестантским духом, в какой-то момент насытившийся временными успехами, но безразличный к удовольствиям, ничего общего не имеет с вечной идеей скупости. Свободная любовь или брак по расчету характеризуют общество. Каждый народ имеет свои предпочитаемые идеологии, свою манеру подчиняться или возмущаться: романтизм и организация, трансформация душ и свержение властей представляются иначе. Шеф коммунистической промышленности, секретарь профсоюза, член политического комитета представляют оригинальные типы, но не для характеролога, который их разделит по категориям или разобьет на уже рассмотренные элементы, а для историка, интересующегося конкретной жизнью.

Импульсы неотделимы от верований и социальных отношений, которые определяют их форму выражения и фиксации. Субординация

побудительных причин мотивам, берем уже использованные нами термины, закрепляет своеобразие исторического порядка и несводимость к анализу и общностям (*generalites*) частных жизней.

Поэтому тот, кто повторяет, что человек чувствует и действует только в одном ключе, ошибается, потому что не признает и пренебрегает разнообразием поведений, глубиной чувственных и интеллектуальных преобразований, влиянием институтов на психическое равновесие, на изменяющиеся отношения между психологическими типами и социальными ситуациями, на наличие исторических категорий, на интимность личности. Что бы ни добавляли к этим замечаниям, как раз будут утверждать константу человеческой природы: частое утверждение под пером историков, которое годится до тех пор, пока интересуются манерами реагирования больше, чем системами знаний, ценностями и целями. Конечно, можно вычленять (как мы указывали выше) импульсы, общие всем индивидам, законы или естественные механизмы, которые находят всюду и которые являются знаком специфического единства.

Но в действительности моралист не довольствуется этой констатацией, чуждой всякой этике, более близкой к психологии, чем к духу. Этому схематическому человеку он предписывает более точные качества, которые ему подсказывает определенная философия. Ален, например, не делает разницы между универсальностью страстей души и универсальностью картезианских щедрот. Смешение необходимо, чтобы дать идею о человеке богатство и престиж, которых она якобы лишилась бы, если бы не представилась как идеальный тип анатомической и инстинктивной конституции. Смешение тем не менее недопустимо. Идет ли речь о коллективной организации, о понимании мира или даже о рациональных категориях, все равно простое наблюдение показывает изменения. Допустим, что категории постепенно группируются в окончательно пригодную систему, что ситуация человека, на взгляд метафизиков, в основном будет одинакова во все эпохи. Тем не менее данные ответы на единственный вопрос варьируют вместе с развитием наук, религий и обществ. Чуждо ли это развитие человеку, который, безразличный и неподвижный, присутствует на шествии своих эфемерных трудов? В действительности вечный человек находился бы по ту или по эту сторону гуманизованного человека, он был бы животным или Богом.

Почему поддерживают с такой энергией эту перманентность человека, слово, которое в устах неверующих принимает такой торжественный и священный резонанс? Бесспорно, хотят спасти один из элементов христианского наследия как фундамент современной демократии — абсолютную ценность души, присутствие во всех идентичного разума. Хотят также девапоризировать особенности класса, нации и расы, чтобы прийти к полному примирению людей с самими собою и одних с другими.

Приносит ли рационализм достаточное оправдание в отсутствие религиозных догм? Противостоит ли он критике биолога или социолога, которые показывают расы и, может быть, классы и индивидов с неодинаковыми способностями, нации, различаемые в конце концов по их истории? Является ли он сегодня объектом живой веры? Во всяком случае, он запрещает освобождать человека от истории. Способность суждения формируется постепенно, она постепенно была признана в каждом.

Абсолютная универсальность может быть только конечной или полностью абстрактной (базирующейся на изоляции правил или формальных тенденций). Разум не предшествует изучению природы, красота не предшествует сознаниям, которые ее осуществляют или испытывают, человек не предшествует созданию государств, разработке духовных миров, росту знания и осознанию всех своих творений. В этом смысле фраза «человек есть незавершенная история», далекая от агрессивности или парадоксальности, скорее вульгарна из-за своей банальности.

Так понятая абсолютная универсальность придает разумный смысл оптимизму, который идеологи прогресса рискуют дисквалифицировать. Желаемое улучшение становится интеллигибельным. Пропорция доброты и злобы, бескорыстия и эгоизма в каждом и во всех рискует почти не измениться, но индивиды неодинаково проявляют качества или ошибки в зависимости от иерархии классов, уровня жизни и форм власти. Они накапливают меньше злобы, если больше согласны со своей судьбой, если освобождаются от комплексов, которые порождают предрассудки или коллективные запреты. Будучи небезразличным к своей труднодостижимой душе, человек в преобразованной среде может раскрыть свое новое лицо.

Несмотря на все, это было бы результатом, а не целью, которую психолог не в состоянии определить. Какой должна быть эта преобразованная среда? Какой — другая жизнь? Мы еще раз возвращаемся к вопросу, неизбежность которого показываем, не давая на него ответа (что было бы невозможно в такой ограниченной, как наш труд, работе). Диалог метафики и исторических идеологий доказывает общность по крайней мере внутри определенной культуры, общность, которая приглашает к поиску истины.

Эта истина должна быть выше плюралистичности действий, за неимением чего она может скатиться до уровня частных и противоречивых воль. Она должна быть конкретной, за неимением чего, как и этические нормы, она остается за пределами действия. Она одновременно является теоретической и практической, наподобие цели, которую постиг марксизм. Через приобретенную власть над природой человек постепенно добивается равной власти над социальным порядком. Благодаря участию в двух коллективных деяниях: в жизни государства, которое превращает каждого индивида в гражданина, в делах культуры, которая делает доступными для всех общее приобретение, — он осуществляет свое призвание: примирение человечества и природы, сущности и существования.

Бесспорно, идеал не определен, поскольку по-разному понимают участие в нем и примирение, но этот идеал, по крайней мере, не будет ни ангельским, ни абстрактным. Индивидуальное и социальное животное начало остается в истории условием, интегративной частью решения. И в конечном состоянии конкретный человек, как зверь и дух, должен быть единым в самом себе и интегрирован в коллектив.

* * *

Это конечное состояние будет равносильно утопии, если не будет связано с осознанием настоящего и с рефлексией над будущим, если не будет необходимо всякой философии. Миропонимание, на первый взгляд, выражает человеческую позицию, но историческая антропология, в свою очередь, подвергается интерпретации, которую она навязывает системам, связывая их со своим психологическим и историческим началом. Мировоззрения неизбежно устанавливают над ангажированным мышлением свободную рефлексию. Но чтобы эта рефлексия добилась сущности вне пределов пережитого опыта, она

должна либо ограничиться вечным условием, и тогда остается бедной и формальной, либо вычленив истину эволюции, то есть зафиксировать цель. Более того, философия и история, философия истории и вся философия — неразделимы. Философия тоже, прежде всего, находится в истории, поскольку она замыкается в пределах особого бытия, она исторична, поскольку она есть душа и выражение эпохи, она есть история, поскольку она осознает незавершенное созидание. Философия есть радикальный вопрос, с которым человек, находясь в поисках истины, обращается к самому себе.

§ IV. Историческое время и свобода

Нет ничего ни по эту, ни по ту сторону становления: человечество совпадает со своей историей, индивид — со своим временем. Таков в нескольких словах вывод из предыдущего анализа, который завершается и резюмируется описанием временного существования. Это описание мы сведем к двум основным чертам: к отношениям временных параметров и свободе в условиях мирской власти.

Опыт времени является одновременно опытом непрерывности и опытом текущего дня. Реальность охватывает довольно широкую совокупность сиюминутности, чтобы было ощутимо течение времени и чтобы прошлое продолжалось в будущем, не выходя из пределов пережитой полноты. Качественное разнообразие представляет собой непрерывное поступательное движение.

Эти непосредственные данные могли бы быть причиной и моделью целой философии. Тип свободного деяния есть творение художника. Искренность требует, чтобы мы в каждое мгновение оставались современниками самих себя. Аутентичная мораль возникает из глубин бытия, куда не проникает разум. Духовность сохраняет характер жизненного порыва, мистицизм, кажется, продолжает первоначальную интуицию, сознание расширяется до совпадения с божественным принципом.

Мы хотели бы вкратце отметить противоположные черты исторической философии. Сущностью и целью жизни является не полное примирение, но постоянно обновляемое действие, никогда не завершенное стремление. Новизна становления есть только элементарная форма, так сказать, условие собственно человеческой свободы, которая разворачивается через противоречия и борьбу. Противоположность, связанная с фундаментальной антиномией

между временем вообще и историческим временем, определяется не через актуальность, а через двойное напряжение.

Часто пугают исторический смысл с культом традиции или со вкусом к прошлому. В действительности для индивида, как и для коллективов, будущее — это первоначальная категория. Старик, кроме воспоминаний, ничего больше не имеющий, так же чужд истории, как и ребенок, поглощенный без памяти своим настоящим. Как для самопознания, так и для познания коллективной эволюции решающим актом является акт, который трансцендирует реальность, представляет то, что больше не является видом реальной действительности, придавая ей следствие и цель.

Стало быть, историческое настоящее не имеет богатства созерцания или полного согласия, оно также не сводится к неуловимой точке абстрактного представления. Оно, прежде всего, совпадает с пережитым, с тем, что не мыслилось и остается по природе своей недоступным всякому мышлению. Для рефлексии оно занимает промежуточное положение, является последним выражением того, чего больше нет, движением к тому, что будет. Эпоха, в которую мы живем, на наш взгляд, определяется тенденциями, которые мы в ней выделяем: может быть, она когда-нибудь будет для народов, лишенных исторического сознания, закрытой тотальностью, но сегодня она представляет собой момент эволюции, средство освоения, причину воли. Жить исторически — значит находиться в отношении к двойной трансценденции.

Каждое из временных измерений является объектом самых различных чувств. Мое прошлое пока является интегративной частью моего «я» не только потому, что оно меня сформировало, но и потому, что оно меня преобразило через чувства, которые я испытываю в отношении его. То оно мне напоминает другого человека, которого я едва узнаю, то оно пробуждает эмоции, которые, я думал, потухли, или пробуждает скрытые страдания. Обедненный, поскольку я больше не являюсь тем, кем был, или обогащенный своим опытом, я не учусь с помощью потерянного времени ни бегству, ни постоянству вещей, ни плодотворности времени; или, по крайней мере, эти противоречивые ценности зависят от современной жизни.

Тем не менее каждое измерение характеризуется и определяется человеческой позицией. Прошлое зависит от знания, будущее от воли, оно не наблюдается, оно должно быть создано. Единственный недуг,

который связан в основном с нашим временным предназначением, представляет собой сожаление, показывающее мне одновременно мой поступок как свершившийся факт, то есть как окончательную реальность, и как долг, то есть свободу. В трагическом бессилии я еще испытываю обязанность, от которой избавился. Ошибка принадлежит тому, кого больше нет, поскольку она есть объект познания, и я продолжаю ее отрицать, как будто ее еще не было.

Поучительный пример: характерное положение временного параметра мы можем занять в отношении любого исторического фрагмента. Таким образом стремятся восстановить в прежних событиях недостоверность поступка. Или совсем наоборот — все движение рассматривается как предопределенное. Неумолимый и бесполезный закон вечного возвращения обозначает завершение этого фаталистического рассуждения. Что касается чистого рассказа, то он будет лишать время содержательности и качества, чтобы свести его к бесконечной линии, на которой пространственно располагаются рядом воспоминания, которые перебирают те, кто отказывается иметь желание.

Подлинная история сохраняет одновременно оба термина — закономерность и акциденция, синтез которых она не ищет, но за переплетениями которых в становящемся детерминизме она следит. Все догматики, пророки или сциентисты рассматривают становление, как будто оно уже завершено, как будто сами они уже над ним. Но историк — это человек, и человек всегда живет так, как если бы он был свободен, даже когда он говорит как будто по принуждению.

Историк похож на каждого из нас, он преобразовывает прошлое путем своего представления о нем. Но не ставится ли снова метафизический вопрос, который мы до сих пор отвергали для анализа фрагментарной необходимости? Не является ли истинным одно из противоречивых изображений?

В самопознании и в познании истории мы показали интервал, который разделяет время и последующую реконструкцию. Те, кто отрицает свободу, всегда умудряются пренебрегать этой противоположностью, путают мотивы с силами, которые обязательно должны приводить в действие решение, концептуально выработанные причины с предшествующей детерминацией. В этом смысле критика руководствуется бергсоновским анализом, поскольку мы снова взяли антитезу события и ретроспективных иллюзий, делающегося и

сделанного. Современное впечатление о случайности дано непосредственно.

Но это впечатление — еще не доказательство: детерминизм строится постепенно, имеет всегда ретроспективный и частичный характер, но предвидения, ограниченные или абстрактные, поведения другого, как и социальных событий, верифицируются: не делает ли этот успех, по крайней мере, правдоподобным предположение об интегральном детерминизме, предположение, которое превышает наше знание на основании качественного разнообразия взаимосвязанных отношений и разделения каузальных связей? Более того, не увековечивает ли органическая спонтанная эволюция, эволюция личностей, коллективов, фатальность характера, наследственности или обстоятельств больше, чем сила новизны? Не является ли наше глубинное бытие особенно нашим данным бытием? Если мы представляем собой наше становление, то не являемся ли мы рабами нашего прошлого, которое по мере того, как мы снова плывем вверх по течению, все больше от нас ускользает?

Свобода в бергсоновской доктрине базируется на вечном разнообразии последовательных экспериментов. Остается трансформировать возможность в действительность или, по крайней мере, описать конкретно свободу, к которой человек должен стремиться и которой может достичь. Как соответствуют друг другу противоречивые требования постоянства и новизны между ничто, которого уже хватит, и ничто, которого пока нет?

* * *

В противоположность колебаниям настроения воля представляет собой стабильность, которая дифференцирует ангажированность импульсов или слепых чувств. Но как я могу ангажироваться без самообречения на неискренность? Я не знаю, буду ли я испытывать завтра то, что я испытываю сегодня. Право изменения обозначает, прежде всего, требование жизни против мысли или решения, которые приписывают себе абсолютную незыблемость.

Но было бы опасно путать согласие с прошлым с победой личной силы. Формирование психологического существа, как это бесповоротно показал психоанализ, есть история, в которой первоначальные впечатления нередко представляют неосознанную тиранию. Предположительно обдуманые поступки часто прямо или

опосредованно выражают путем перевода или компенсации обреченную тенденцию обреченности. Все невротики связаны со своим неврозом: облегчение приходит от сознания, которое порывает с наивными иллюзиями, признает мир как таковой, а не таким, каким он снится детям или описывается родителями.

Наконец еще больше в плане духа свобода непостижима без превращения. Я получил от других или от моей наследственности то, что я полагаю мыслимым. Защищать всю жизнь свои негодования или убеждения молодости — значит подчиниться внешним обстоятельствам или своему темпераменту. Здесь тоже необходимо обновляться, для того чтобы себя выбрать. В моральном плане угрызения совести вызывают к превращению, к ангажированности верности. Часто представляют себе успешное лечение слабого сознания, которое постепенно ассимилирует, так сказать, ошибку и в конце концов снова находит спокойствие. Страдание успокаивается в прощении. Но этому изменению не хватает главной добродетели: может быть, существует материальный факт. Сознание, примирившееся с самим собой, тогда как последствия зла продолжают, становится похожим на фарисейское сознание. Трансфигурация прошлого в воспоминания и через воспоминания должна следовать за искуплением с помощью действия, которое его стирает или компенсирует. Вообще снятие ограничений меняет либо реальность, происходящую из предыдущих решений, либо самих людей.

Верность состоит не в том, чтобы симулировать чувства, которых больше нет. Даже продолжающаяся любовь не зафиксирована. Следуют за неизбежным становлением, как только имеют смелость наблюдать за подлинным опытом, вместо того чтобы цепляться к словам или к самодовольному представлению. Не то чтобы оно сводилось к редким мгновениям, когда в нем испытывают реальность (между этими мгновениями существует запас для радости и печали), но оно расчленилось бы на позиции и противоречивые впечатления, если бы воля не сохраняла в нем действительное единство. Когда чувства угасают, то остается засвидетельствовать через поведение, что ничто не забыто и ничто не отвергнуто. Между искренностью, желающей неустойчивости, и постоянством, поддерживаемым упорством или безрассудством, остается место для двойного усилия искренности и подлинности.

Решение, которое, бесспорно, покажется недостаточным и туманным и которое в сущности ограничивается обозначением противоречий жизни. Но перед лицом своих противоречий, общих всем, каждый находится один на один и каждый реализует свое решение. Абсолютную верность можно было бы обещать только высшему существу, такому существу, которое нельзя покинуть, не предав самого себя, ибо верность либо находится по эту сторону решений в психофизиологической индивидуальности, либо она признает изменения.

Исторически нет такой революции, которая, как и всякое преобразование, не изменила бы одновременно среду и людей. Двойное освобождение: от реальности, которая является следствием прошлого, и от самого ближнего прошлого, поскольку оно ведет к другому будущему и кажется на первый взгляд новым. Далее надо было бы изучить значение и ценность исторической верности, которую одинаково не признают революционеры до наших дней, когда, уверенные в победе, они возобновляют традицию, и консерваторы, которые ее путают с неподвижностью. Верность, которую трудно выяснить абстрактно как для наций, так и для индивидов, еще больше необходима нациям, до того народы, в сущности, похожи сами на себя, отмечены в конечном счете своей историей или природой для уникального предназначения.

Ни постоянство желаний, ни изменение жизни не характеризуют или не определяют свободу. Результат предсказуем, если правда, что свобода не доказывается и что она имманентна духу.

Опровергают теории, которые ее отрицают, показывают их сомнительность, их противоречие с внутренней очевидностью. По ту сторону находится действие, в котором она только и может испытываться. Однако собственно человеческое и духовное действие предполагает, чтобы человек сознательно принял свое поведение. Диалектическое время истории возвышается над временем (коллективы тоже смутно представляют свое становление). Главным остается двойной отрыв от рефлексии и выбора, который разделяет человека с самим собой, но освобождает его и мысленно для поиска истины.

Выше мы противопоставили непрерывность прерывности как накопление жизненного или психологического опыта, присущего мгновению свободного возобновления. В действительности мы

неоднократно находили противоположность эволюции и разрывов. Формально она соответствует противоположности событий и регулярностей. Эволюция конкретно проявляется последовательно как износ институтов, обеднение рас и народов или, напротив, сохранение верований и институтов, прогресс техники. Что касается разрывов, то именно военные крушения или социальные потрясения вдруг раскрывают латентный кризис или великие дела, являющиеся внешне отдельными, которые вырастают из анонимных толп и обнаруживают в людях их несформулированные чувства. Антитеза имеет значение во всех движениях, во всех слоях реальности.

Тем не менее она сохраняет большое значение для жизни. Потому что, будучи одновременно животным и духом, человек должен быть в состоянии преодолеть внутренние фатальности, фатальность страстей через волю, фатальность слепых импульсов через сознание, фатальность бесконечного мышления через решение. В этом смысле свобода в каждое мгновение снова все пускает в ход и утверждается в действии, где человек больше не различается.

* * *

Свобода, возможная в теории, эффективная на практике и через практику, никогда не бывает полной. Прошлое индивида ограничивает поле, где проявляется личная инициатива, где историческая ситуация фиксирует возможности политического действия. Выбор и решение не возникают из небытия, они, может быть, подчинены самим импульсам, во всяком случае, частично определены, если их соотносят со своими antecedентами.

Только мышление по праву избегает каузального объяснения в той мере, в какой оно подтверждает свою независимость, верифицируя свои суждения. Но всегда возвышается над знанием, обреченным на изучение объектов и имеющим по преимуществу незавершенный характер. Но чтобы человек полностью был согласен с самим собой, нужно, чтобы он жил в соответствии с истиной, чтобы он признал себя независимым одновременно в своем творении и самосознании. Идеальное примирение, не совместимое с судьбой тех, кто ставит идола на место Бога.

Жизнь человека диалектична, то есть драматична, поскольку она протекает в неустойчивом мире, ангажируется вопреки времени, ищет

истину, которая, ускользая, не имеет другой гарантии, кроме фрагментарной науки и формальной рефлексии¹.

¹ Такое частичное философское исследование, как это, собственно говоря, не предполагает выводов. Поэтому данный раздел завершается этим параграфом. Пробел неизбежен и произволен. Вся эта последняя часть выражает в антропологических терминах уже полученные результаты и сама по себе представляет своего рода заключение, поскольку показывает значение для жизни абстрактных высказываний, которые были до этого доказаны. Более того, в трех частях последнего раздела мы снова столкнулись с той же фундаментальной антиномией между историческими перспективами и философским рассмотрением истории, между идеологиями и поступательной истиной ретроспекции, особенностью решений и универсальностью призвания. Мы не могли выйти за пределы этого вопроса без конкретной интерпретации настоящей ситуации человека и философии. Конечно, эта книга объясняется этой ситуацией, она преследует цель дать возможность понимать: но понимание было бы темой другой книги.